

'Консервный' завод

**Сергей Адамович
Колбасьев**



- Колбасьев Сергей Адамович



Колбасьев Сергей Адамович

'Консервный' завод

Характеризуя творчество одного из зачинателей советской приключенческой литературы, Сергея Адамовича Колбасьева, Николай Тихонов отмечал, что повести и рассказы Сергея Колбасьева о людях чести и долга могут служить хорошим чтением для воспитания юношества. Они рассказывают о временах первых лет Октябрьской революции, о людях, которые защитили завоевания Октября.

Печатаемый нами приключенческий рассказ Сергея Колбасьева "Консервный" завод" был впервые опубликован в журнале "Вокруг света" в 1928 году.

С. КОЛБАСЬЕВ

"Консервный" завод

Я слишком поздно заметил, что ножной тормоз не действует. Скорость - семьдесят километров. Дорога падает крутым коротким спуском, потом сразу влево.

Правой рукой изо всей силы рванул за пустое место. Привычка к американским машинам. Там у них цепной тормоз. А я на большом "рено".

От этого потерял равновесие. И себя и машину выпустил из рук, Может быть, еще от усталости.

Мотор ровно гудел, и в дрожащем стекле я ясно видел растущий на повороте забор. Время шло медленно и отчетливо. Я даже успел ощутить холод ветра, заметил низкую крышу сарая и над ней закат.

Потом тупой толчок и звон стекла. Автомобиль тяжело прыгнул вверх. Полторы тонны веса. Доски забора взлетели все сразу. Черное дерево перелетело наискось по красному небу. Беззвучный удар по всему телу. Конец.

Нет, не конец. Руки проваливаются в мягкую землю. Земля, качаясь, поддается, и я падаю дальше. Слева давит страшная тяжесть - я из последних сил бросаюсь вперед.

Темнота сверху донизу треснула узкой полосой огня. Это дверная щель, и всей тяжестью тела я распахиваю дверь.

В синем дыму висит молочно-белая электрическая лампа.

Я слышу слова: "Николаевский мост". И прямо мне в глаза блеснуло очками длинное красное лицо.

Почему "Николаевский мост"? Но очки, блестя, уплывают в голубых облаках, я лицом вниз я падаю в темноту. Теперь конец.

Первым ощущением была жгучая боль в левой ноге. От боли

дрожило все тело, и я трезвел от нее, как от холодной воды.

Голос надо мной сказал: "Сломана", - и боль стала легче. Ногу отпустили.

Почему здесь, в сорока километрах от Гельсингфорса, говорят по-русски? Я не сразу открыл глаза, стараясь сосредоточиться и понять. Но боль волнами охватывала всю левую сторону тела и мешала.

Открыв глаза, я инстинктивно заговорил по-шведски. "Где я?" Так всегда говорят книжные герои в подобных случаях, и этой мысли я невольно улыбнулся.

Мне ответили на плохом шведском языке с твердым русским акцентом: "Все в порядке".

Комната была низкая и туго набитая табачным дымом. Из четырех человек я узнал одного. Красное треугольное лицо в очках. И сразу вспомнил, как попал в эту комнату. Теперь обе двери были плотно закрыты.

- Что со мной случилось? - спрашиваю я. - И куда я попал?

- Кто вы такой? - вместо ответа в упор говорит очкастый.

- Из Рикссвенска, - отвечаю я, внезапно решив врать. - Швед, художник. Зовут Бертиль Лунд. Забыл дома визитные карточки. Что с автомобилем?

- Иванов, - с запинкой отвечает молодой человек в очках. - Ваш автомобиль разбит. Вы пробили наш дом.

Ему трудно говорить по-шведски. Однако хорошо, что я не заговорил с ним по-русски. Его фамилия не Иванов. Это очевидно.

- Василий Иванович, - говорит Иванов желтому молодому человеку с редкими волосами, - достань трианолу из моей аптечки.

Нога тянет и жжет, к ней привязана огромная тяжесть. По рассмотрении тяжесть оказывается ножкой от стула и плотным бинтом. Наискось через лицо тоже бинт, и правая половина головы ничего не чувствует.

Мне поднимают голову, и я глотаю соленый порошок. Вплотную к моим глазам черный засаленный жилет Иванова. На нем маленькие золотые пуговицы с двуглавым орлом и якорями. Форменные пуговицы старого флота.

- Лучше подождать, пока заснет, - говорит Иванов.

Значит, лучше не засыпать, но я не могу сопротивляться. Боль немеет, и молочный свет становится дымным. Я слышу глухие голоса и улавливаю только одну фразу: "Ветчина с горошком". Она повторяется. Потом кто-то сухо смеется. Совсем как курица. Свет тухнет...

Опять та же лампа на длинном грязно-белом шнуре и тот же

постоянный дым, но комната пуста. На некрашеном деревянном столе грязная посуда. На блюде толстый ломоть консервированной ветчины. Конечно, с горошком.

И я чувствую, что она имеет какое-то особое значение.

Дверь открывается, и я сразу закрываю глаза.

- Спит, - слышу голос Иванова.

Звонят тарелками. На столе знакомый свист самовара. Это, несомненно, русские эмигранты.

- Хороший моральный эффект, - говорит один. - Но хватит ли силы у вещества?

- Оно совсем недавно изобретено, - отвечает другой голос, низкий и дребезжащий. - Осборн говорит, что в лаборатории их министерства... - И голос обрывается.

Я слышу мягкие шаги, и вдруг прямо в ноздри и рот лезет удушливый дым плохого табака.

Чихать во сне нельзя. Я издаю довольно естественный стон, мотаю головой, со страшным усилием сдерживаюсь и, уже проснувшись, чихаю.

Надо мной внимательные очки Иванова: он ласково спрашивает порусски:

- Как почивали? Отвечаю голосом попугая:

- Как пошиваете, карошо. И, подумав, добавляю:

- Водки.

Вышло убедительно, все смеются.

- Вы говорите по-русски? - спрашивает настороженный Иванов и недоверчиво блестит очками.

Отвечаю нараспев, на стокгольмском диалекте:

- Меня учил русский полковник Иванов. Вы тоже Иванов, наверное, родственник. Полковник служил в "Опера Челларен" в Стокгольме. Это отличный кабаk. Полковник дирижировал там балалайка-оркестром.

"Получайте, господин Иванов".

Иванов недоволен.

- Много научил? - спрашивает по-шведски.

В ответ я круто ругаю его по древнерусскому обычаю с сильным иностранным акцентом и поясняю:

- Так любил говорить полковник.

Взрыв хохота, я попал в точку.

- Я по-русски знаю еще: пососок на дороску. - И не без гордости поясняю: - Это говорят, когда пьют последнюю кружку водки.

Даже Иванов смеется.

- Вы хорошо знаете русский язык.

И после некоторого раздумья говорит, повернувшись к столу:

- Василий Иванович, дам гостю чаю и не забудь всыпать туда что я сказал. От этого он проснется через несколько дней, если не издохнет.

- Вам нужен отдых, - по-шведски поясняет он мне и, не отрываясь, смотрит в глаза.

Я не хочу засыпать на несколько дней. Тем более навсегда. Но по внимательности взгляда из-под очков и небрежности брошенной фразы угадываю ловушку.

Василий Иванович спокойно отвечает:

- Все сделано. - И передает Иванову чай и кусок хлеба с маслом.

Надо рискнуть. У чая металлический вкус, но, может, это от кружки. А может, и нет.

Все равно пью, вынув ложку, и хвалю, что крепкий. Я люблю русский чай и русское гостеприимство. Мне стыдно, что доставляю им столько хлопот. Убытки, причиненные моим автомобилем, охотно возмещу. А вообще рад познакомиться.

Дожевываю хлеб и возвращаю пустую кружку. Они смотрят на нее с облегчением.

- Ни черта не понимает, - формулирует всеобщее мнение Василий Иванович.

Они рады, что я не понимаю по-русски. Это не удивительно - я знаю, кто они такие. Но какова связь между лабораторией министерства и ветчиной с горошком? Опять же при чем тут Николаевский мост, - первое, что я слышал в этой комнате.

Надо попробовать разговориться.

- Мне, право, стыдно, что я вам испортил дом. Знаете, я его с дороги не заметил. Мне показалось, что я упал в огород.

- Верно, - говорит Иванов, - в огород. А под огородом наш погреб, и вы сюда провалились. У нас здесь мастерская... консервный завод.

Он стал значительно любезнее. Он хочет дать какое-нибудь нормальное объяснение их подполью.

Я констатирую отсутствие зловредных веществ в чае. В самом деле: спать мне не хочется, наоборот, хочется есть, и мне дают тарелку ветчины с зеленым горошком.

- Очень вкусно. Ваше изготовление?

- Почти, - усмехается Иванов.

Дальше не идет. Надо начать с другого конца.

- Удивительно, как я не разбился насмерть. С полного хода. Это было как во сне. Я падал без конца, а потом распахнулась дверь, я увидел вас, и вы сказали: "Николай эскимос". Что это значит?

- Как? - Иванов заметно вздрогнул. - Ничего подобного, - с

внезапной резкостью заявил он и добавил: - Вы, наверное, не так слушали.

Он не хочет говорить про Николаевский мост настолько, что даже путается в шведском языке. Примем к сведению.

- Как ваша нога? - переключает он разговор.

- Спасибо, много легче. Только благодаря вам. Может быть, вы теперь отправите меня в город на автомобиле? Я доставляю вам столько беспокойства.

- Пустяки, лучше вам совсем не двигаться недели две, а тогда мы вас отвезем. Простите, что у нас так неудобно; мы люди бедные, здесь живем и работаем.

Значит, они предпочитают продержат меня здесь недели две. Очевидно, на их консервной фабрике есть кое-какие производственные секреты.

- Кстати, - прерывает мои мысли Иванов, - куда сообщить о том, что вы у нас? - И опять смотрит мне в глаза своими очками.

Это скверный вопрос. Ведь не сказать же: "В Советское полпредство, Бульвардсгатан, 21". Кроме того, там, как и во всем Гельсингфорсе, никто и не знает шведского художника Бертиля Лунда.

- Топелиусгатан тринадцать, трап Д, квартира 43. Я там остановился у приятеля. Его зовут Хегфорс. Аксель Хегфорс.

Все в порядке, потому что Аксель на прошлой неделе уехал в Лондон.

- Хорошо, - сказал Иванов и встал из-за стола. - Вам нужен отдых. Спите. - И, повернувшись к своим сотоварищам, добавил порусски: - Идемте химией заниматься, господа офицеры.

На прощанье быстро взглянул на меня. Я был заинтересован повязкой на левой ноге...

Мои часы были разбиты, и я потерял счет времени. Иногда казалось, что я сплю целые сутки, иногда - что я просыпался, не успев заснуть. И всегда они ели и пили чай. Всегда та же белая лампа и тот же слоеный табачный дым.

Иванов дал мне затрепанный комплект гельсингфорсской "Аллас Кроники" и любезно со мной говорил, когда страдал припадками подозрительности.

Во время одного из таких припадков он напомнил мне, что я художник, и попросил нарисовать на стене его портрет. "На память", - пояснил он и протянул кусок угля. Стена беленая. Иванов смотрит на меня во все очки. Напрасно я не назвался коммерсантом. Но жалеть поздно, беру уголь. Я не умею рисовать, но в юности хорошо изображал плезиозавров. В стоячих воротничках и с галстуком.

Резко и размашисто нарисовал на стене такого же. Добавил

очки и стриженую шерсть на затылке. Вышло даже похоже.

- Футурист, - фыркнул Иванов и ушел. Двигаться я не мог. Это было трудно, но меня непреодолимо притягивала та дверь, куда мои хозяева уходили после еды. Оттуда доносилось жужжание, а иногда звон пилы по металлу.

Потом я потерял сон. Часами лежал и прислушивался к звукам изза закрытой двери. Лежал, закрыв глаза, и ровно дышал при хозяевах. Напрасно - они между собой не говорили.

Они ели и уходили. Посуду оставляли грязной, но консервную банку из-под ветчины аккуратно мыли кипятком и уносили. Странная чистоплотность - особенно в этой сказочно грязной обстановке.

Окурки в тарелках и под столом, прекрасные стулья резного дуба и жестяные кружки. Ржавая сковородка на фарфоровом блюде...

Я проснулся от гулко-го взрыва, от него вздрогнула стена и со скрипом подалось мое деревянное ложе. Хозяева вошли с веселыми лицами.

- Пустяки, - успокаивал меня Иванов. - Бывает на всякой консервной фабрике.

- Всего один грамм, - бормочет смуглый, со шрамом от носа к уху, которого другие зовут Профук. - А там будет полтора кило...

- Любопытно, что с прибором и всем добром банка будет весить ровно два кило. Как раз сколько весила с ветчиной, - тихо говорит Василий Иванович и смеется. Это он смеется, как курица.

Удача развязала им языки. К сожалению, ненадолго. От тяжелого взгляда Иванова все замолчали. Едят, передают мне тарелку с тем же неизменным блюдом.

Я не удержался.

- Неужели вам не надоела еще ваша бесконечная ветчина?

- В самом деле, - рассеянно ответил Иванов. - Ничего, мы скоро кончим.

Встал и ушел со своими товарищами.

Следовало спешить. Я сполз с кровати и, держась за стол, стал медленно продвигаться к двери. У стены стояла швабра, очень грязная, но вполне способная заменить костыль.

За дверью ровное жужжание. Теперь я понял: это паяльная лампа.

Если приложить ухо к дверной щели, то за жужжанием можно разобрать слова:

- Происходит от присутствия воздуха. Берегись, Профук, не проколи банки. Рванет... сам понимаешь, если попадешь им в лапы, пусть вскрывают твои консервы. Обрадуются...

Это голос Иванова.

- Выбирай чистое место на льду, когда будешь бросать с моста. От толчка пойдут часы. Номер первый: четыре часа, второй - три с половиной. Третий - полтора, четвертый - час. Сперва Николаевский и Дворцовый, потом за новыми банками, потом Троицкий и Литейный. Успеешь?

И голос Профука отвечает:

- Успею.

... Мимо Финляндского вокзала домой к границе. Кланяйся большевикам. - И с жужжанием смешивается кудахтание Василия Ивановича.

Я больше не могу, переползаю к постели, ставлю швабру на место. Как раз вовремя: Профук входит и бережно пронесет банку в другую дверь.

Теперь все понятно. "Хороший моральный эффект", - они хотят взорвать ленинградские мосты. Надвое разрезать город Невой, как раз перед ледоходом.

Умные приборы на бомбах: двойное действие. Это смерть в банках из-под ветчины.

Я прополз к другой двери и открыл ее. Это та самая, через которую я сюда попал. Передние колеса автомобиля были почти вплотную к двери. Кругом доски и глыбы земли.

Влево шел коридор. При свете из двери я увидел в его начале открытый ящик. В нем шесть банок ветчины с горошком. У другой стенки четыре такие же банки, но с цифрами углем на этикетках.

Я сразу повернул назад в дверь, я увидел все, что нужно. Пробрался к кровати и лег думать.

Необходимо действовать. Я поймал себя на том, что шарю рукой, ищу между стенкой и кроватью уголь, заброшенный туда после моего художественного подвига.

Со стены отвислой губой улыбался иронический плезиозавр...

К столу вышли трое. Профука не было. Иванов несвязно уверял, что он поехал коммивояжером с образцами консервов. Острие, господин Иванов, что ж, я не препятствую.

У сидевших за столом веселые глаза. Дело кончено поблизости нет никаких сильно взрывчатых веществ, кроме доброго эстонского спирта. А его много, его запах густо перемешан с табачным угаром и плавает в комнате.

Хозяевам весело, со мной шутят наперебой, меня перенесли с кроватью к столу, и все пробуют говорить по-шведски.

Из той двери, за которой хранились консервы, Василий Иванович принес свежую банку ветчины. Поставил ее на стол. Иванов нацелился на крышку широким японским штыком. Поднял над рукоятью кулак. Сейчас ударит. У меня остановилось сердце, и я закрыл глаза.

Тупой удар и скрежет разрезаемой жести. Я еле удержался на кровати, но заставил себя открыть глаза: все на месте.

- Вы побледнели, - с трудом говорит Иванов. - Я дам вам хорошее средство для цвета лица. Недозволенное в Финляндии. Пососок на дороску, - он прямо из пятилитрового бидона льет чистый спирт мне в кружку. Спирт был кстати - он притупил бдительность Иванова. Я отпил глоток, остальное вылил ему же в кружку. - Так делают в Швеции, когда братаются.

Это поклеп на Швецию, но Иванов рычит от восторга. Пили за здоровье культурного европейца, занесенного судьбой в их тесный круг, я методично ругался по-русски с иностранным акцентом и, когда можно было, выплескивал спирт из кружки. Но для приличия приходилось иногда глотать. Это был жидкий огонь.

Пели, и я отстукивал фокстротный такт ложками по столу. Я обнимал Василия Ивановича. Василий Иванович плакал.

На столе гудела паяльная лампа. Иванов выжигал ею ветчину из открытой банки. В комнате стоял страшный смрад.

- Где мой железный конь? - кричал я по-шведски в ухо Иванову. - Я хочу его напоить. - Это для подготовки отступления.

- Правильно. Да здравствует цивилизация! - рычит Иванов вперемежку по-русски и по-шведски. - Отнесите его к его автомобилю. Дайте ему полную полоскательницу спирта. Пусть пьют вместе. А мне принесите всю остальную ветчину. Я истреблю ее огнем. К черту ветчину, к черту горошек...

Меня взяли под руки и, качая, вынесли через дверь. Потом бросили на автомобиль, я ушиб ногу, и она нестерпимо болела.

Я прополз на подножку автомобиля и потянулся вверх. Оттуда падал свет. Дыра, пробитая в земле, была заложена ветвями, и между ними было видно небо.

Внизу мои новые друзья гремели банками. Из открытой двери клубами валил чад и грохотал голос Иванова.

Я карабкался вверх. Даже не старался уберечь ногу. Дверь внизу захлопнулась. Разбрасывая ветви, я вырвался на поверхность.

Над сараем закат. Такой, как был, когда я впервые увидел этот сарай. И так же отчетливо ощущалось время.

Это было последнее напряжение. Я прыгал на одной ноге, волоча сломанную, цеплялся руками, продираясь через кусты.

Потом скатился под откос и упал на берегу маленькой замерзшей речки. Дальше идти не мог: лежал наполовину в обмороке от невыносимой боли и слушал, как подо льдом журчит вода.

Тогда произошел взрыв. Я ощутил его сильным толчком в

грудь, потом громом и огненным вихрем над откосом.

Лед на речке треснул и выплеснул воду. Сверху сыпались комки. Рядом со мной упало искалеченное автомобильное колесо. Больше я ничего не помню.

Меня подобрал шофер проезжего грузовика. От меня сильно пахло спиртом. По душевной простоте он решил, что взорвался самогонный завод. Из солидарности потребителей запретного в Финляндии зелья решил меня укрыть. Я метался и кричал. Он спрятал меня в своем гараже. Когда я пришел в себя достаточно, чтобы назвать ему свой адрес, он отвез меня домой.

Как странно выглядели чистые и благополучные улицы Гельсингфорса с сиденья его грузовика!

Дома я его отблагодарил и просил забыть, где он меня нашел. Он забыл.

В кровати я развлекался чтением газет. "Гувудстадебладет" сообщала о взрыве склада контрабандного спирта. Найдено много бидонов и обломки автомобиля, на котором спирт возили с побережья. Происшествие отмечалось как крупный успех полиции.

"Красная газета" в Ленинграде писала о странном самоубийстве на мосту лейтенанта Шмидта. Незвестный человек был остановлен милиционером в то время, когда сбрасывал консервные банки с моста. Милиционер просто усмотрел беспорядок, но неизвестный выстрелил, промахнулся и побежал. Навстречу ему попался второй милиционер, и неизвестный застрелился. Документов при нем не оказалось. Консервы заграничные, вполне свежие.

Я знаю эти консервы: это ветчина с горошком. Наверно, их съели в пятнадцатом отделении милиции, что на Васильевском острове.

Но я никогда не стану их есть и никогда не забуду, как, стоя на одной ноге, ворочал банки с этими консервами в темном коридоре. Я не мог отодвинуть плеча от стены - я бы упал. Чтобы стереть угольные цифры с этикеток, приходилось их лизать. Потом писать углем цифры на других банках.

В любой момент могли прийти. Тогда я пропорол бы одну из банок. У меня в жилетном кармане была крепкая вилка.